

XX

Я живо сорвал свои четыре галуна; на них, бедных, было просто жалко смотреть, – так они поблекли, порыжели и полиняли... И вот я свободен!

Именно теперь – я настоящий командир батальона. Никогда не следует принимать официального начальствования над революционной армией. Я думал, что чин приносит с собой авторитет, – он отнимает его.

Ты только ноль перед номером батальона. И подлинным начальником становишься лишь в бою, если первым кидаешься в опасность. Ты впереди – и другие идут за тобой. А потому крещение избранием не значит ничего; есть лишь одно крещение – огнем!

Да, теперь, когда мой головной убор не украшен уж больше серебряными червяками, все те, кому я был так предан и кто чуть было не превратился в моих врагов, дружески протягивают мне руки. Я председательствую на собраниях различных групп, не будучи официально председателем ни одной из них. Не нужно мне почестей. Я хочу быть простым солдатом, получать свои тридцать су и иметь право кричать вместе со всеми: «Долой начальников!»

– Не советую вам, господин капитан, иметь меня в своем батальоне!

Капитан смеется или только делает вид, что смеется, так как отлично знает, что отныне офицеры у меня в руках и что это я буду подсказывать им мятежные лозунги.

Однако мой чин оказал мне услугу, когда мы, как начальники, в полном составе отправились в ратушу изложить волю Парижа и потребовать, чтобы не злоупотребляли его отчаянием, а хорошенько вооружили его против врага.

Однажды утром мне довелось увидеть, как все правительство национальной обороны, выведенное на чистую воду, запуталось во лжи под ясным взглядом Бланки.

Слабым голосом, спокойно и сдержанно он дал им понять, в чем заключается опасность, указал на средства, какими можно избежать ее, прочитал целую лекцию политической и военной стратегии.

И Гарнье-Пажес в своем высоком воротничке, и Ферри со своими бакенбардами, и бородатый Пельтан – все они имели вид школьников, уличенных в полном невежестве.

Правда, Гамбетта не присутствовал, а Пикар явился лишь в середине заседания.

После Бланки слово взял Мильер. От имени революционеров он требовал отправки комиссаров за пределы Парижа, «чтобы представить народ армиям».

– Послушайте, Вентра, – говорит толстяк Пикар, увлекая меня в амбразуру окна и теребя пуговицу моего пиджака. – Вы знаете, я совсем – ну, ни капельки – не протестую против того, чтобы вас отправили куда-нибудь подальше с вашим мандатом полномочного представителя предместий. Это доставило бы мне даже некоторое удовольствие... Но другие, – вы только взгляните на них! Ну, разве не простаки мои коллеги! Они могут избавиться от вас и чего-то еще раздумывают. Я так вот готов подписаться руками и ногами, лишь бы убрались подальше эти красные.

...Красные? Где красные? – прибавил он, подражая завсегдатаям дешевых танцулек, которые кричат: «Визави? Где визави?»

И расхохотался.

Затем, нагнувшись к самому моему уху и поводя пальцем у меня перед носом, сказал:

–Но вы, хитрец, вы никуда не поедете! Готов держать пари на кролика, что не поедете!

Я не держу пари на кролика... слишком дороги они сейчас. К тому же я проиграл бы. Точно так же, как и он, я не понимаю этих кандидатур, представленных на утверждение правительства.

Нельзя оставлять город, когда в нем голод и тридцатиградусный мороз: этот голод и этот холод готовят горячку восстания. Нужно оставаться там, где подышают.

Да и нечего рассчитывать на то, что провинция, не пожелавшая прийти нам на помощь, зашевелится вдруг только потому, что в одно прекрасное утро явятся люди из Парижа и начнут вечером разглагольствовать в клубах.

Но зато это будет совсем «как в 1793 году».

Так думают люди убежденные, а те, что себе на уме, считают, что раз поставил ногу в стремя официального положения, то уж ни кулаки восстаний, ни выстрелы реставраций не должны выбить тебя из седла.

– Черт бы вас побрал! – кричит Пикар своим коллегам. – Отправляйте их, и пусть их там повесят, или пусть они сами лезут в петлю, если им угодно. Когда затрещит их собственный

затылок, они уж не станут толкать вашу башку в ошейник гильотины... будьте спокойны! А когда все утрясется, они еще будут просить, чтобы вы дали им у себя местечко и легализовали их мандаты бунтарей. Так всегда бывает.

Однако эта философия никак не устраивает власть; она не желает показать вида, что уступает толпе, и хочет играть роль Юпитера-громовержца, изрекающего «Quos ego»[150], перед которым смиренно отступают пенящиеся волны.

Но они грозно вскипели однажды вечером. Мы, группа командиров предместий, в полной парадной форме пришли спросить, не издеваются ли над народом?

Явились Ферри и Гамбетта и затараторили во имя отечества и долга... Гамбетта был резок и распекал нас.

Но мы дали отпор холодно и твердо.

Лефрансе высказался, за ним другие: ослиная шкура их декламаций была пробита.

Не зная что ответить, они начали грозить.

– Я велю вас арестовать, – заявил мне Ферри.

– Посмейте только.

Они не осмеливаются и с жалким видом отступают. Гамбетта улизнул под шумок, выбросив последний заряд красноречия.

Ферри, разыгрывающий роль смельчака, остается. Его окружают, теснят... Никто не знает, чем закончится этот вечер и будет ли каждый из нас ночевать у себя дома.

Несколько командиров шепчутся в углу; видно, как их руки сжимают эфесы сабель.

– Вентра, вы с нами?

– В чем дело?

– Нас здесь сотня, мы представляем сто батальонов. Из этой сотни только человек восемь за Гамбетту и Ферри. Что, если остальные девяносто два скажут этим восьми и тем двум: «Вы наши пленники»?

Мысль пришла по вкусу. Через час может случиться много нового.

Но по нашим губам и глазам было нетрудно догадаться, о чем мы сговариваемся.

